

Николай Лесков

Антука



Николай Семёнович Лесков

Антука

*Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175199*

Аннотация

«На скором поезде между чешской Прагой и Веной я очутился vis-à-vis с неизвестным мне славянским братом, с которым мы вступили по дороге в беседу. Предметом наших суждений был «наш век и современный человек». И я, и мой собеседник находили много странного и в веке, и в человеке...»

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	12
Глава третья	19
Глава четвертая	27
Глава пятая	31
Глава шестая	34
Глава седьмая	38
Глава восьмая	41
Глава девятая	46
Глава десятая	49

Николай Лесков

Антука

Рассказ

«*En-tout-cas*» – зонтик на всякую погоду.
(Из модного преискуранта)

На скором поезде между чешской Прагой и Веной я очутился vis-à-vis с неизвестным мне славянским братом, с которым мы вступили по дороге в беседу. Предметом наших суждений был «наш век и современный человек». И я, и мой собеседник находили много странного и в веке, и в человеке; но чтобы не впадать в отчаяние, я привел на память слово Льва Толстого и сказал:

– Образуется!

Собеседник понял значение этого слова и продолжал:

– Это верно; но только *что* образуется-то! Было преобладающее впечатление свирепства, злости, бездушия или слабости и распущенности, и все-таки можно было предвидеть, как жизнь перетолчет это в своей ступе и что из этого образуется. А теперь преобладает во всем какой-то фасон «антука» – что-то готовое на всякий случай и годное для всякой погоды:

от дождя и от солнца. Меня поражает эта удивительная приспособительность, которую я замечаю во всех слоях общества и повсюду. Неделя тому назад как я видел такой экземпляр в этом роде, что прямо в печать просится.

Я его попросил рассказать, и он мне рассказал следующее.

Глава первая

Недавно мне привелось побывать в соляных копиях в Галиции. Оттуда, когда выйдешь на землю, представляются два места для отдыха и подкрепления: можно идти позавтракать при буфете на железнодорожной станции, а можно то же самое сделать и в ближайшей «старой корчме». В корчме уютнее, проще и теплее, чем на станции.

Здесь в сырое время можно и обсушиться, и обогреться, потому что тут есть огромный кирпичный камин, и чуть холодновато – всегда тлеет толстый обрубок дерева, а вокруг него весело потрескивает и издает здоровый, смолистый запах зеленый вереск.

Там, на «бангофе» – Европа, а здесь, в корчме – еще «stara Polska».

Я бываю в той местности раза два в год и знаю тамошнюю корчму много лет назад. Когда тут не было железнодорожного «бангофа», корчма была единственным приютом для путников, а теперь она занимает второе место, но я ей все-таки верен.

Лета мало изменили корчму. Тот же низенький, старопольский фасад и тот же грязноватый ход через сени с вытопанным кирпичным полом и с тяжелыми столами, покрытыми не совсем чистыми ширинка-

ми грубой ткани. В огромном камине и теперь пылает огонь, в стороне перегородка, и в ней квадратное оконце, за которым находится главное место хозяина. Перед оконцем полка и на ней неизысканная выставка закусок: жареный гусь, обложенный кисло-сладкой капустой; бигос из колбас и капусты; зразы с кашей, с хлебом и капустой; капустняк с фаршем; жареная серна и мелкая дичь, прошпигованная салом, и, вдовавок, щука по-жидовски с шафраном. В графинах водка, наливки разных цветов, бочонок с пивом и наш добрый красный гольдек в полубутылках. Впрочем, над прилавком есть надпись, что здесь еще можно иметь старый мед, и тут же иллюстрированный прейскурант, в котором значится несколько названий венгерских вин, между которыми подчеркнут «маслач». Патрон большой краковской корчмы это вино особенно рекомендует.

Но самое замечательное здесь собственно в самом патроне, и с него начинается дело. И корчма, и мед, и бигос – это все старого типа, а в патроне есть обновление во вкусе «антука». Нынешний патрон здесь с прошлого года и он мне не знаком, но предместник его внушал мне большие симпатии. Это был пожилой, сухощавый и очень медлительный в своих движениях поляк. Его звали пан Игнаций. Он был человек задумчивый, точно он нес на себе судьбы мира и по доро-

ге зашел в корчму, присел у прилавка, пригорюнился и начал хозяйствовать, но совсем без удовольствия, так как это не его дело. В таком грустном, но благородном настроении он здесь состарелся и умер, все размышляя о Польше и о «ракушанских швабах». Теперь вместо почтенного Игнация за буфетом не сидит, а мотается новый арендатор – человек более молодой и несравненно более подвижный, даже чересчур подвижный и говорливый. Зовут его пан Мориц или «гер Мориц», – кому как угодно, – он на все откликается. (Игнаций никогда на «гера» не откликался.)

Между паном Игнацием и Морицем во всем огромная и страшная разница: они и по характеру, и по темпераменту, и по воспитанию совсем разные типы.

Игнаций представлял из себя нечто поэтическое и вдохновительное, – особенно для нашего брата-славянина: это был матерый, чистокровный поляк, – «шляхтич на огороде равный воеводе». Он ходил в темной чемарке из довольно грубого, но зато настоящего, «хозяйственного», польского сукна, в панталонах, заправленных в сапоги, которые называются «бутбми», и в поясе с бляхой. Лицо он имел красивое, смуглое, с таинственным и мрачным выражением. Высокий лоб его осенял высокий же с проседью черный чуб, а над устами его простирались огромные черные с проседью усы. В глубоких карих глазах Иг-

нация жила какая-то поэтическая, с ним навеки умершая тайна. Он мне очень нравился, и я остаюсь в том убеждении, что снесавшая его тайна была в своем роде что-то благородное и грустное.

Теперешний принципал корчмы, пан Мориц, с первого взгляда производит совсем иное, как будто легкомысленное впечатление. Он среднего роста, проворен, вертляв, с тонкими чертами лица, голубыми глазами и точно выточенным тонким носом, на котором у него ловко сидит маленькое стальное *rinse-pez* без шнурка. В лице и фигуре Морица не отпечатлелся никакой национальный тип. Он с одинаковым удобством может быть принят за поляка, как и за чеха или за венского немца. По-видимому, национальность даже немало и не занимает Морица: он даже, может быть, нарочно устроил себе такой туалет, чтобы в нем не было никакой цельности. Он весь человек сборный. Во-первых, у него на голове, покрытой густыми русыми волосами, красуется французская бархатная ермолка, расшитая шелками и бисером (бархат довольно просален, а шитье местами осыпалось), потом *rinse-pez* в дрянной стальной оправе, надетое без шнурочка. Это *rinse-pez* у него соскакивает с переносицы от одного движения бровями и всегда непременно падает к нему прямо в руки. Потом на Морице серая пражская куртка с зелеными выпушками и с пуговица-

ми неполированного оленьего рога, а под нею поддет длинный коричневый жилет, сшитый камзолом, в стиле Фридриха II. Из кармана свешивается часовая цепочка из фальшивого золота и торчат два огромные железные ключа.

Нижний этаж фигуры Морица напоминает танцмейстера. На нем легонькие панталонцы из самого тонкого светленького трико, а из-под них внизу видны красные шерстяные носки и туфли из моржовой кожи шерстью вверх.

Что содержится на уме у Морица и какое у него прошлое – это на его лице ничем не выражено.

Мориц говорит с одинаковою бойкостью и свободю как по-польски, так и по-немецки, и притом не выказывает ни к одному из этих языков никакого предпочтения. По-видимому, ему то и другое совершенно все равно. С удовольствием и улыбкою он только произносит некоторые фразы по-французски.

Фразы эти Мориц, по собственной его откровенности, усвоил в Париже, где он побывал, состоя барбанщиком при одном из «победоносных региментов», повергших Францию в лапы прусского орла, через «неожиданный оборот милостию Божиею».

Мориц – познанский поляк; он затесался к австриякам как-то случайно, а может быть и умышленно – тоже, чтобы сделать «оборот милостию Божиею».

Человек, одаренный особенно счастливо проницательностью и внимательно всматриваясь в его лицо, может быть, подумал бы, что Мориц изрядный плут, способный вести довольно сложную и ответственную игру, но в нем тоже бездна болтливости и легкомыслия, с которыми плутни вести неудобно. Прежний задумчивый патриот Игнаций непременно вспоминается и в сравнении с Морицом представляет какое-то поэтическое олицетворение «оных минувших рыцарских веков». Мориц – выжига, но зато он ни над чем не задумается и нигде не потеряется.

Глава вторая

Когда я взошел в корчму, в ней было всего только три человека: охотник с ружьем, сидевший в углу за газетой и за кружкой пива, да очень старый еврей в шелковом капоте. Этот помещался у маленького столика, на котором перед ним стояла горячая вода, маленький флакончик гольдека и корзинка с поджаренным белым хлебом. Он представлял из себя застывающую жизнь и отогревался теплым вином с водой. В окне стоял и в упор смотрел на меня в ринсе-пез пан Мориц. Он стоял неподвижно всего одну минуту, но зато так стойко, как будто это был портрет, вставленный в раму.

Я сейчас же заметил, что имею дело с человеком нового духа.

Игнаций никогда не находился в такой бойкой и проникающей позиции. Тот, бывало, всегда сидел на особливом этаблисмানে, обитом черною кожею, и ни за что не беспокоивал себя, чтобы посмотреть на входящего посетителя и определять себе, коего духа входящий? Это было бы слишком много чести для всякого. Игнаций держал свою задумчивую голову, опустив лицо на грудь или положив щеку на руку.

Входящий гость – кто бы он ни был, все равно, черт

его возьми, – сам прежде должен был сказать Игнатию первое приветствие, и только тогда он мог ожидать к себе ответного внимания. Но теперь, едва я переступил порог, как Мориц уже залепетал мне навстречу:

– Бонжур мосье! Мете ву плас!

И главное: «мете»! От кого он это слышал в Париже? Верно это ему так перешибло за барабанным боем.

Но еще я не собрался ему ни слова ответить, как он уже дальше зачастил:

– Коман са ва? Кё дезире ву?

С этим он выскочил из-за перегородки, шаркнул своими туфлями и, подвинув мне стул к одному из столов, проговорил:

– Асее ву. Нузавон кельке шоз а вотр сервиз.

Вместо ответа я вручил ему карточку моего краковского знакомого, которым был сюда адресован и которого я должен был здесь дожидаться.

Мориц взглянул, сказал: «тре бьен» и сделал такое движение бровями, от которого пенсне спало и моментально прямо с носа слетело в открытую левую руку. И замечательная вещь: как пенсне соскочило с лица Морица, так словно спал с него и весь его прежний шельмоватый вид; он точно нашел, что меня не стоит рассматривать с особенно серьезной точки зре-

ния, и начал пошалить: во-первых, он сразу упростился в выражении и заговорил по-польски.

– Чем же смею потчевать, пока придет ваш приятель? Есть у меня, пане доброздею, гусь, и самый прекрасный гусь, кормленный чистым хлебом. В буфет на бангоф берут гусей у мазуров, но я не беру. Важных панов, которые кушают в бангофе, можно начинать чем угодно, лишь бы был соус с каэнной, но у меня собирается почтенная шляхта, – люди хозяйственные, которые знают, что такое мазурская домашняя птица. Их гуси, откровенно сказать, всегда пахнут травой. Есть утка светская и утка дикая. Дикая – свежихонькая, вчера только застреленная, и сам стрелок здесь налицо: вот он, пан Целестин, который читает газеты и проникает во все тайные соображения Бисмарка. Я ни у кого не покупаю уток, кроме пана Целестина. Есть также бигось с капустою до услуг панских; есть зразы, есть воловья печень, или, чем уже могу похвалиться, есть добрая полендвица; но есть также и шинка, – настоящая польская, а не немецкая шинка – и жидовский щупак с шафраном... Что? Как вам это нравится? Щупак отлично приготовлен. Знаете – щука в своей коже. Я вам особенно рекомендую эту штуку. Вот реби Фола, – израэлит, а и он сейчас бы скушал при благословении Божиим, но не смеет, потому что боится своих почтеннейших израэлитов. Он еще наблюда-

ет «кошер».

Старый еврей, услышав свое имя, посмотрел и глухо повторил:

– Кошер.

– Кожа с этой щуки снята без одной дырочки, как чулок с ножки красивой панянки, и вы лучшей щуки не найдете даже в самой чешской Праге на жидовском базаре.

Я попросил дать мне кусочек жареной дичи.

Мориц одобрил.

– Да, – сказал он. – Это я понимаю! Я говорю насчет дичи. Щука и вообще всякая рыба – это тоже хорошо, но не то... От рыбы всегда есть что-то... отдает сыростью; но пернатая легкая дичь благородней, и притом она легко варится в желудке. А я вам услужу такую дичью, какой вы, может быть, еще и не едали, да даже и наверно не едали. Если только вы не бывали в забраном крае за Гродном, в Беловежской пуще, то и не могли есть. Дичь для меня стреляет Целестин, – человек с философским настроением и добрый патриот. Это чего-нибудь стоит.

Мориц просыпал все это скоро, словно дробь на барабане, и, повернувшись на каблучке, опять очутился на своем месте, в окне за перегородкою. Тут он постучал черенком ножа по выставочной доске, и на этот знак за его спиною тотчас же, как из земли, выросли

молодой чумазый хлопец в куртке и баба в очипке.

Мориц мановением чела отослал бабу назад, откуда она пришла, а хлопцу велел подать мне прибор и порцию дичины.

Дичина оказалась сухой и безвкусною.

Мориц это заметил и посоветовал мне смочить ее гольдеком, что я и принял к исполнению.

Вино оказалось несколько лучше кушанья и послужило темою для разговора о разных винах: рейнских, венгерских и французских.

Мориц имел обо всем этом достаточные понятия и особенно одобрял французские вина, которых он, по его словам, выпил «чертовски много».

Мориц сказал мне, что тот, кого я ожидаю, придет через час и я еще успею у него отдохнуть и хорошенько пообедать, причем обещал дать мне отличный борщ с уткой «из двенадцати элементов». Такое обилие «элементов» меня удивило; Мориц, чтобы убедить меня, начал было их перечислять, как вдруг был прерван раздавшимся из-под стола неожиданным и злобным рычанием охотничьей собаки.

Мориц сейчас же обратил на это внимание и проговорил:

– Ага! Это ничего... Это идет наш пан бель-бас! Бутько всегда его удивительно слышит.

В ответ на это охотник молча кивнул головою и толк-

нул ногою свою собаку.

– Вы, пан Целестин, напрасно с Бутько взыскиваете, – заметил Мориц. – Бутько добрый и даже почтенный пес; поверьте, что он знает, какой дух в человеке. И, обратившись ко мне, добавил: – Собака никогда не смешает честного человека с мерзавцем, и вот этот Бутько ни за что не пропустит, чтобы не зарычать на пана Гонората.

– А кто это пан Гонорат?

– А это... вот вы его сейчас увидите: шельма ужасная, но преинтересный собеседник. Я его умею заводить и сейчас заведу.

– Еще что! – пробурчал Целестин.

– Нет, отчего же... Правда, что он, шельма, врет часто...

– Не часто, а всегда.

– Эх, пане Целестин, да где нынче взять людей, которые не врут! А в компании Гонорат – соловей, у него есть анекдот на всякий случай и... знаете... иногда есть любопытное и поучительное.

– Чтобы черт побрал его душу, – тихо прошипел Целестин и снова углубился в газеты.

В сенях послышались тяжелые шаги и раздался сильный толчок в дверь.

Отворявшаяся внутрь дверь широко распахнулась, и в просвете ее, как в раме, показалась интересная

фигура.

Глава третья

Пришедший был тучный человек средних лет с коротко остриженной красно-рыжею головою и с совершенно красным лицом, на котором виднее всего выступал большой выпуклый лоб с сильно развитыми глазными пазухами. Вся физиономия гостя была круглая, нос картошкой, пухлые чувственные губы и крошечные серые глазки с веселым, задорным и в одно и то же время глуповатым, но хитрым выражением. Незнакомец был одет в красивое и очень удобное форменное платье, состоявшее из коричневой суконной блузы, подпоясанной кожаным поясом с бляхою; на голове высокая тирольская шляпа с черным пером. За плечами у него была винтовка, а в левом ухе серьга с бирюзой. Серьга сидела точно заклепка и бросалась в глаза с первого взгляда.

Словом, по лицу и по всем приемам это был Фальстаф, а по мундиру – австрийский жандарм.

Для довершения сходства с Фальстафом, он был в веселом расположении духа и сразу начал шутки. Он не переступал порога, а, отворив дверь, остановился, заложа руки за пояс, и покатился со смеху, показывая глазами на охотника.

Морицу не нравилось, что в открытые двери уходит

тепло, и он просил жандарма войти.

– Просим, просим вас, пане капитане, пожалуйста, не студите бедной шляхетской хаты.

Жандарм принимал величание, но продолжал смеяться, глядя на охотника.

Мориц вспыхнул.

– Входите сейчас в комнату, почтенный капитан, или я выйду и захлопну мою дверь перед самым вашим высокопочтенным красным носом.

– А ты, высокопочтенный прусский барабанщик, если боишься замерзнуть, то все-таки постарайся говорить с уважением о моем носе, – отвечал хриплым голосом жандарм. – Я остановился и стою потому, что хочу издали налюбоваться великим дипломатом, нашим тонким политиком, паном Целестином, которого я видел сегодня на заре, как он сидел, глядя на копец королевы Боны.

– Черт возьми вашу милость, вы все отлично видите, но вы можете налюбоваться паном Целестином, подойдя к нему ближе! – воскликнул Мориц и в одно мгновение выскочил из-за своей перегородки, впихнул жандарма в корчму и запер за ним дверь, а потом, оборотясь ко мне, возгласил комически важным тоном: – Имею честь представить вам, мосье, высокопочтенного пана Гонората. Самый храбрый вояка и добрый товарищ за бутылкою чужого вина; до сих пор

чином не вышел, но первый кандидат в капитаны жандармерии его пресветлого величества нашего наияснейшего цезаря.

– Болтай, болтай, прусский барабанщик и первый кандидат на виселицу, – отшутился Гонорат и, сняв с себя перевязь и винтовку, начал располагаться в кресле перед камином.

Усевшись, он вытянул к огню ноги и сейчас же задал насмешливый вопрос Целестину: что пишут про политику и что думает Бисмарк в Берлине и генерал Милорадович в Петербурге?

Охотник сделал гримасу и сквозь зубы ответил, что он на уме у Бисмарка не бывал, а Милорадовича никакого не знает.

– Как же не знаешь?.. Милорадович – русский фельдмаршал?

– Нет такого фельдмаршала.

– Ну, Суварув!

– Перестаньте говорить глупости. Нет Суворова.

– Кто же у них вместо Суварува?

Целестин не отвечал, а Мориц заметил:

– Вам, как жандарму, стыдно не знать, кто вместо Суварува.

– Ага! И ты опять меня хочешь стыдить! Лучше молчи!

– Перед вами?

– Да, именно передо мною.

Мориц сделал презрительную гримасу.

– Ага!

– Я вас не боюсь, господин капитан.

– А не хочешь ли ты, я тебе расскажу кое-что постыднее, чем не знать про Суварува?

– Очень рад послушать, что вы соврете.

– Совру! Нет, мой милейший! Я не совру: ты увидишь, что твои укORIZНЫ напрасны, и что я, как жандарм, кое-что знаю.

Мориц приложил руки к виску и субординационно ответил:

– Извините, господин капитан!

– То-то и есть, приятель! Я знаю даже очень незначительные мелочи, и если хочешь, я сейчас же представлю тебе на это доказательство.

– Очень желаю! Как же... очень желаю, господин капитан.

– Третьего дня, вот в такой же счастливый час свободы между двумя дорожными поездами, я пошел в проходку, и когда проходил мимо дома одного здешнего обывателя, то, как ты думаешь, на что я наткнулся?

– Черт вас знает, на что вы наткнулись.

– Я увидел, как его сынишка резал звездочками морковь для супа и пел преглупую песенку: «Наш ша-

новный бан налил воды в жбан». Ты знаешь эту песенку?

– Не знаю, но слышал.

– Да; но ведь это у тебя, если не ошибаюсь, третьего дня в супе плавали морковные звездочки?

– Вы все знаете и ни в чем не ошибаетесь, капитане.

– Так, мой милый Мориц, я все знаю, а за то, что ты знаешь, что я все знаю, – я советую тебе сейчас же пойти в свои комнаты и хорошенько выпороть твоего Яську.

– О, капитане, я это уже сделал.

– Вот это прекрасно! Теперь ты можешь надеяться, что это будет известно в Вене.

Мориц щелкнул туфлями и поклонился.

– И что же?.. Ты, надеюсь, стегал и причитывал и, может быть, добился от Яськи: кто его выучил?

– Узнал все, как на ладонке.

– Кто же его научил?

– Ваш Стаська, мой добрый капитан.

Гонорат оборотился в сторону Морица, посмотрел на него и, расхохотавшись, воскликнул:

– Ты шельма!

– Покорно вас благодарю.

– Нет, ей-богу!.. Ты, мой любезный Мориц, не обижайся... Я тебе это откровенно говорю, что ты шель-

ма! И ты знаешь...

– Что еще позволите знать, капитане?

– Ты, конечно, знаешь, что «шельма» это не значит то, что... шельма, а это значит, что ты *молодец*..

– О, я молодец! Мне это еще раньше вас говорили, капитане.

– Я тебя за это так и люблю. Я не люблю рохлей.

– Фуй! И я их терпеть не могу, пане капитане.

– Я больше всего уважаю в человеке находчивость, чтобы человек всегда и везде был умен и находчив. И я для находчивого человека все готов сделать.

– Но случилось ли так, чтобы вы что-нибудь для кого-нибудь делывали?

– А ты разве в этом сомневаешься?

– Признаюсь вам, что даже вовсе не верю.

– Он не верит! Ах ты, прусский барабанщик! Да! Я делал, и много, Мориц, делал. В моей жизни бывали самые ужасные, такие ужасные случаи, когда ты бы, наверное, совсем не сумел найтись, а я нашелся.

– Ей-богу не знаю, как вам и сказать, высокомогущий капитане, вы знаете, что всем любопытно и прелюбопытно вас слушать.

– Я тебе, пожалуй, и расскажу одну историю. Это страшно, но зато это совершенно справедливо, а ты ведь любишь в страшном роде?

– Как вам сказать? – молвил Мориц и сделал гри-

масу: – я люблю и страшное, но...

– Говори откровенно.

– Больше я люблю *гемютлих!*

– Ах, гемютлих! Ну, тут будет и гемютлих.

– Вместе?

– Да, – и страшное, и гемютлих.

– Клянусь, что это что-нибудь из вашей повстанской службы.

– Непременно так! Ты отгадал! Но ты мне за это прежде вспенишь большую кружку пива и велишь подать кусок брынзы.

– С восторгом, мой капитане!

Кружка с пивом была подана, и Мориц объявил:

– Господа! вниманье! Пан Гонорат будет рассказывать страшное пополам с гемютлих. Он всегда так откровенен, что даже за это помилован: грехи его прощены, но он много видел страшного... Да-с, он даже сам вешал людей своими собственными руками.

– Да, я вешал людей, – отвечал Гонорат: – и вот об этом-то я и буду рассказывать, потому что при этом и с их стороны, и с нашей было выказано много ума.

– А всего больше, я думаю, подлости, – прошипел Целестин.

– Мориц! Попроси этого господина замолчать.

– Помолчите, Целестин! Что вам за охота все сокрушаться о подлостях! У Гонората, наверно, есть очень

занимательная история, а ваши газеты, по правде сказать, очень скучны.

– Скучны!

Целестин махнул головою и уткнул нос в газету, – дескать: «Пусть врет, я не буду слушать».

И вот наступило не то вранье, не то правда, – как хотите, так и думайте.

Глава четвертая

Гонорат начал с того, как он был в повстанье, в отделе у какого-то пана Цезария, и очень его хвалил. Молодой, говорит, был вояка, но страсть какой храбрый. Учился воевать по-настоящему в Париже, у французов в академии, и мог всякого победить по всем правилам; но без правил сражаться не мог и потому у нас не годился. Разные вещи с собой привез в чемодане: и бусоли, и планы, и даже молоденького адъютанта французской природы, а только все это не пошло впрок. Все эти вещи адъютант растерял, и сам заболел, потому что совсем был слабый, как барышня, даже и груденка вперед коробочком выперлась, будто как зоб у птички. Говорили, что это так и есть, – что это барышня-француженка. Он все с ней сидел и ел курку с маслом в палатке, а всем провиант отпускал ксендз Флориан. И стали они оба в лице меняться: Цезарий стал отходить, а ксендз Флориан усилился. Началась деморализация... Ты, барабанщик, понимаешь, что называется деморализацией?

– Понимаю, капитане; только у нас в Пруссиях ее не было.

– Ты прав, у вас не было. У вас ведь гороховой колбасой кормили, – и то не жирно. А мы тогда сначала

пришли с охоты, и стали скучать, что Цезарий в палатке целуется, и многие тоже начали подумывать: как бы и себе улизнуть домой, да тоже бы курку с маслом есть, да целоваться.

Ксендз Флориан это заметил и говорит:

– Я должен командовать отрядом, а не Цезарий.

Ему говорят:

– Цезарий от высшей власти назначен.

А ксендз Флориан отвечает:

– Это ничего не мешает: его высшая власть назначила, а я видел Остробрамскую Божию Матерь, она мне приказывает. Соберитесь-ка, – говорит, – все на берег реки, когда солнце сядет, и вы сами увидите за рекою, как она меня благословляет. Со мною непременно будет победа. Только, чтобы видеть это, вы должны весь этот день попоститься и с утра ничего не есть.

И приказал нам ничего не давать.

Мы говорим:

– Хоть хлеба!

– Нет, – говорит, – ничего не надо: чтобы чудесное увидеть, надо быть совсем не евши.

Мы очень проголодались и собрались, чуть стало смеркаться. Стоим и смотрим за реку, а Флориан пришел после нас и сел на скамейку.

Спрашивает:

– Что, хлопцы, видите?

Мы отвечаем:

– Нет, отче, ничего не видим.

– Как ничего не видите! А туман?

– Только и видим один туман.

– А в тумане Матерь Божия в огненном сиянии вся светится и вас благословляет. Видите?

– Нет, не видим.

– Ну, так это оттого, что вы еще со вчерашнего дня очень наевшись. Вы недостойны. Не ешьте еще сегодня на ночь и завтра не ешьте до вечера, тогда вы увидите, а теперь ступайте спать – вы недостойны.

Не велел опять давать никому ни водки, ни хлеба и прогнал спать; а на другой день опять привел на берег и спрашивает:

– Видите?

Мы то же самое ничего не видели, и так и отвечали.

А он говорит:

– Ну, так еще один день не ешьте, тогда увидите.

Тут между нами один мазур нашелся и говорит:

– Позвольте-ка, отче, позвольте минуточку: я как будто начинаю что-то замечать...

– Ага! – говорит, – это хорошо: всматривайся, всматривайся и говори, что ты замечаешь?

– Мне в тумане, действительно... как будто огонек показывается.

– Вот, вот, вот! Смотри еще попристальнее! Все в одну точку смотри, да читай в уме молитву, непременно больше увидишь! А вы, кашевары, собирайтесь разводить здесь огонек под котлом: нынче, кажется, вам Матерь Божия покажется, и вы будете есть лозанки с сыром.

Тот, который начал видеть, как услышал это, так и вскрикнул:

– Вот, вот, в самом деле: как я стал читать молитву, так и вижу Божию Матерь! Ксендз отвечает:

– Ну, если ты ее видишь, то ты уже можешь ужинать.

Тут и все увидали.

Флориан говорит:

– Вот и молодцы, – только это и надо, чтобы вы все были удостоены. Теперь присягните перед крестом, что видели. Ходить далеко не нужно: крест со мною, присягайте сейчас и пойдете пить водку и ужинать.

Мы все присягнули и друг другу больше ничего не сказали; а Флориан сказал Цезарию: «уезжай за границу с своим адъютантом», а сам стал командовать.

Глава пятая

При Флориане сразу пошло совсем другое дело. Флориан был не то, что Цезарий. В Париже не учился, а был молодчина: он весь свой век все пел в каплице да дома сливы мариновал с экономкою, а однако знал все тропинки в полях и все лесные входы и выходы. Он как утвердился, так сейчас и объявил, что я, говорит, никому не дам спуску, – и чужого, и своего сейчас повешу.

– Я, – говорит, – по глазам умею читать: кто в лице станет меняться – значит собирается улизнуть домой курку с маслом есть, – я его сейчас и повешу.

Мы все его стали бояться. Скажет: «вижу в твоих глазах, ты в лице меняешься» – и повесит. Стали все притворяться как можно больше веселыми.

Но напала на нас на всех робость. Как встанем, пойдем к ручейку умываться и посмотримся: не меняемся ли в лице. Помилуй бог меняешься – сейчас повесит. И все мы как друг на друга взглянем – кажется, как будто все в лицах переменяемся, потому что боимся Флориана до смерти, и надо, чтобы он этого в глазах не прочитал. А он читает. Многие стали в уме мешаться и путаться. Был у нас мой крестовый брат мазур, Якуб, преогромный, а между тем начал плакать.

«Смотри, скучать нельзя!» Он говорит: «Я не скучаю, я даже теперь очень весел, а только я про жалостное вспомнил». – «Что же такое жалостное?» – «А вот, говорит, когда я дома поросят стерег, так у одной свиньи было двадцать поросят, а как одного из них закололи, так все его остальные коллежки захрюкали». И опять плачет, а на Якуба гляючи, молоденький еврей, паныч Гершко, который за наше дело воевать пристал, также стал плакать.

– О чем? – говорим. – Ну, Якуб вспомнил про поросячьих коллег, а тебе что такое? У вас свинины не едят и жалеть не о чем.

А он отвечает:

– Мне, – говорит, – что такое поросята... тьфу! Я даже таты и мамы не жалею, а слезы у меня так... я не знаю отчего... Может быть, от ветра льются.

– Смотри, мол, – отворачивайся, под ветерок становись, а то Флориан в глазах прочитает и враз повесит.

Все лежим кучкою у угольков, картофель печем и тихонько об этом разговариваем, а сами думаем: вот только чтобы об этом Флориан не узнал! Да как ему узнать! Его ведь здесь нет, он не услышит, о чем мы говорили. А кто-то напомнил: «А ведь он, говорит, завтра по глазам может прочесть». Тьфу ты, черт возьми, положение! Все и стали сокрываться, – кто полой голову накроет, будто спит, кто под фурманку отползет

и тоже будто заснет, а другим и это страшно кажется – зачем другие отползают. И так вся ночь-то ни в тех, ни всех прошла; а когда на заре стали подниматься – смотрим, ни свинаря Якуба, ни паныча Гершки нет... Где ни искали по всему обозу – нигде нет!

Флориан как узнал об этом, так и заколотился. И плюет, и топчет, и кричит: «Чтоб разысканы были, а то всех повешу! Они нас выдать могут». И все подумали: и вправду, они попадутся, – их станут пытаться, и они нас выдадут.

Послал за ними в погоню искать их по лесу и по ярам двадцать человек, и все по двое, а Флориан всех перед тем осмотрел и сказал: «Смотрите, ворочайтесь и их приведите, а то я вас по глазам вижу».

Пошли наши и два дня никого не было, а наконец двое идут и ведут свинаря Якуба, а двое паныча Гершку, а остальные шестнадцать человек и сами не ворочались.

Глава шестая

Флориан говорит: «Я так их и по глазам видел, что они не воротятся. Теперь нам здесь прохладиться некогда: сейчас над этими суд сделаем по старинному обозному правилу и уйдем в поход на другое место искать неприятеля».

Обернулся к Якубу и Гершке и говорит:

– Вас сейчас судить.

Гершко заплакал, а Якуб сел на землю у фурманки, к колесу прислонился и говорит:

– Мне все равно, я теперь не боюсь, – а сам сомлел.

Сомлел и паныч Гершко и перестал плакать. Оба уж они очень отощали в лесу, оборвались и измучились.

Флориан торопился судить.

– Они, – говорит, – дезертиры и шпионы, они бежали с поля и хотели нас выдать: за это их должно повесить. Снимите с двух фурманок вожжи, поднимите вверх дышла и замотайте их крепко у передков, чтобы дышла не качались. Вот так... Теперь хорошо... Так велит старый обозный обычай. Теперь кто желает быть палачом?.. А?.. Никто? Прекрасно! Ничего не значит. Мы узнаем сейчас, кто будет палач. Это сейчас будет показано. Пусть каждый из вас закачает себе рукав выше локтя. Вот так!.. Теперь раскройте один

мешок с овсом.

Мы закачали рукава и мешок развязали.

– Берите каждый по очереди горсть зерен в руки и мне показывайте.

Мы стали захватывать зерна горстью. Первый захватил горсть и раскрыл перед ксендзом. Флориан говорит:

– Отходи, на тебя нет указания.

Взял следующий. И на этого нет.

Дошло до меня. Я разжал перед Флорианом горсть, он говорит:

– По указанию судьбы, ты обозный палач.

Я обомлел, говорю:

– Помилуйте, где же указание?

– А вот, видишь, – говорит, – у тебя в горсти два черные зерна. Это и есть указание: два зерна и два человека – ты двух должен повесить.

Я ему начал кланяться в землю.

– Отец святой!.. Я боюсь!.. Я не могу!

Но он и слушать не хочет.

– Если бы, – говорит, – ты не мог, так на тебя указания не было бы. Или ты, может быть, ослушник веры? Так мы в таком разе тебя и самого удавим. Хлопцы, говорит, – я должен его немножко поисповедывать, а вы не завязывайте мешка; может быть, придется доставать не два, а три зерна – кажется, надо будет тро-

их вешать.

Я подумал себе: «Э, нет, братку! Знаю я, что ты за птица. Ты меня станешь по глазам читать и нивесть что на меня скажешь! Нет, я лучше так, просто, без исповеди согласен».

– Нет, не нужно, – говорю, – отче, меня исповедывать не нужно. Я нынешний год исповедывался и общался... повешу... сколько угодно и кого угодно повешу.

– Хоть и самого ксендза повесили бы! – перебил Мориц.

– Он, я думаю, и отца с матерью повесил бы, – вставил Целестин.

– Очень может быть, – отвечал Гонорат, – но я об этом стал бы рассуждать только с тем, кто имел несчастье вынуть из мешка черное зерно при действии старого обозного обычая. А с такую дрянью, которая стоит в корчме за стойкою или читает газеты, мне об этом рассуждать непристойно. Я продолжаю. Я согласился, но я стоял не живой и не мертвый, потому что давить людей, поверьте... это не гемютлих, а это черт знает что такое! А хлопцы, по ксендзову приказу, живо сдвинули две фурманки, поставили их передок к передку, дышла связали, ремень ветчинным салом помазали и наверху в кольцо петлю пропустили.

– Пожалуйста, палач, на свою позицию!

Глава седьмая

Подвели свинаря Якуба и поставили под петлю на переднюю ось из-под другой фурманки. А ксендз Флориан говорит мне:

– Надевай на него петлю и смотри, чтобы непременно пришлось выше косточки.

У меня руки трясутся, – весь растерялся.

– Какая тут у черта косточка!

Флориан говорит:

– А, ты не знаешь косточки?

– Не знаю. Я из простых людей.

– Это ничего не стоит, – говорит, – простого человека сейчас можно все сразу понять заставить. – Да с этим как сожмет меня пальцами за горло, так что я, было, задохся.

– Вот, – говорит, – где бывает косточка. Понял?

А у меня уж и духу в горле не стало.

– Понял, – просипел я без голоса.

Ксендз толкнул меня сзади ногою в спину.

– Делай!

Я взял за ремень и стал по шее гладить – искать косточку, где надевать. А Якуб, вообразите, вдруг оба глаза себе к носу свел! Как это он мог!.. И, кроме того, темя у него на голове, представьте, вдруг все вверх

поднимается... Такая гадость, что я весь задрожал и петлю бросил. Флориан опять мне дал затрещину пребольно... Тогда я надел петлю.

Тут сам Флориан говорит мне:

– Палач! Подожди!

Оборотился лицом ко всем и говорит:

– Паны-братья! По старому обозному обычаю, людей так не казнили, как их теперь казнят. Кое-что в старину было лучше. Вы это сейчас же увидите. По старому обозному обычаю, осужденному на смерть человеку оказывали милость: у осужденного спрашивали, что он хочет, не имеет ли он предсмертной просьбы? И если человек объявлял предсмертную просьбу, то исполняли, чего бы он ни попросил. Так и мы поступим.

Все похвалили.

– Ах, как хорошо!

А ксендз Флориан спрашивает:

– Не имеешь ли ты предсмертной просьбы, Якуб?

Якуб молчит.

– Мне все равно, мне только пить хочется.

– Экий дурак! – говорит Флориан: – ничего не умел выдумать. Дайте ему пива!

Подали Якубу пива, а он – было начал губами пену раздувать, а потом говорит:

– Не надо, не хочу.

Флориан говорит:

– Выдерни из-под него передок.

Дернули из-под него передок, он и закачался... Что-то щелкнуло.

Все отворотились, и тихо-тихо стало все; только связанные дышла подрагивали. А когда мы опять оборотились лицом, так уж Якуб только помаленьку сучился на вожжах, и глаза от носа в раскос шли, а лицо, представьте себе, оплевалось.

Ксендз Флориан сказал:

– Это ничего, давайте жиди на его место.

– Где же будет гемютлих? – спросил Мориц.

– Погодите.

Глава восьмая

Паныч Гершко оказался против Якуба находчивей. Он, как только увидал мертвого Якуба, сам начал про просьбу кричать:

– Я имею просьбу... Ай, я имею большую пред-
смертную просьбу!

Ксендз говорит:

– Хорошо, хорошо! Ты ее скажешь. Но только я впе-
ред тебе должен одно сказать: пожалуйста, не про-
сись в христианскую веру. Это у вас такая привычка,
но теперь тебе это не поможет, а ты только поставишь
нас в неприятное положение.

– Ой, нет, нет! – говорил паныч Гершко, – теперь в
христианскую веру проситься не буду. Я совсем дру-
гое... Совсем простое прошу.

– Ну, простое проси.

– Я прошу не вешать меня за шею!

Гонорат остановил рассказ и воскликнул:

– Вы понимаете, в чем тут штука?

Мориц молча кивнул головой, а ребя Фола вскри-
чал:

– Разумно!

Гонорат бросил на него презрительный взгляд и
продолжал:

– Разумно!.. А вот же ты увидишь, к чему это повело!
Ксендз рассердился.

– Ах ты, – говорит, – каналья! Так-то ты за деликатность платишь! Разве это можно выдумывать!

– Отчего же не можно?

– Да за что же мы тебя повесим?

А Гершко отвечает:

– Мне все равно... Хоть ни за что не вешайте.

Флориан только плечами пожал и говорит:

– Нет, братцы, жида такой народ, что с ними, действительно, ничего невозможно.

И Гершку повесили.

– За что же? – перебил Мориц.

– Ну, конечно, за шею.

Вышла пауза.

Мориц побарабанил пальцами и, вздохнув, сказал:

– Да, это гемютлих... Сколько вы, капитане, в самом деле пережили ужасного!

– Не мало, Мориц, не мало.

– Но вы, все-таки, хорошо нашлись.

– Как кажется. Иначе мне самому висеть бы на дышле.

– Конечно, конечно! – заметил Целестин. – Нельзя спорить, что всех находчивее вышли ксендз с Гоноратом. Они ли не молодцы! Сами, черт знает, выдумали откуда-то какой-то старинный обозный обычай,

сами предсмертную просьбу учредили и сами же все это уничтожили: удавили людей, как тетеревят, а сами живут спокойно.

Гонорат посмотрел на Целестина и, покачав головою, вздохнул и молвил:

– Почтенный пан Целестин, вы не можете судить чужую душу. Теперь я спокоен, но меня это долго мучило, и я не находил покоя даже после того, как нас тогда скоро рассеяли, и я принес покаяние, и меня простили...

– А вы, капитане, чистосердечно раскаялись? – спросил Мориц.

– Это что за вопрос? Разумеется, чистосердечно.

– То-то... как добрый католик.

Гонорат покачал головою.

– Любезнейший Мориц! Как это глупо!

– Да я ничего.

– Нет, не «ничего». А я это для твоей же пользы... Я переменял свой образ мыслей, и надел вот эту жандармскую шляпу с казенным пером, Мориц, – это всякий может видеть; но я долго не знал покоя в жизни.

Целестин сделал презрительную гримасу и процедил:

– Отчего же это?

– Да, вот именно «отчего»? Тебе, почтенный Целестин, будет непонятно, потому что ты не поляк.

– Почему же это я не поляк?

– Потому что ты лютер или кальвин, а не католик, и у тебя черствое сердце. Ты – ведь я тебя знаю... ты не веришь...

– Вы все должны знать.

– Да не перебивай! Ты в Бога не веришь.

– Вы врете.

– Возьми свое слово назад. Твоя вера, какова она есть, это все равно, что ее и нет. Ты хлопчешь о том, что всего меньше стоит. Не отпирайся: ты внушаешь молодым людям, что поэзия вздор, и хлопчешь только о том, чтобы все занимались работой, чтобы процветал труд и ремесла, как будто в этом для нас все и дело; а я – добрый католик: и люблю поэзию, и имею чувствительное сердце: мне дорого то, что ждет нас после смерти. Да; мне всегда приходит на память, что всем надо умереть... И когда мне это придет на ум, и я подумаю, что я тоже умру, то всякий раз ясно вижу перед собою это... как у них были глаза... оба к носу... и темя шевелилось. Я уверяю тебя, что это престрашно, и это со мною долго продолжалось.

– Но, однако, прошло?

– Да, прошло.

– Отчего же?

– От одного ужасного случая, от которого я черт знает как уцелел на свете.

– Какой же это случай? – спросил Мориц.

– Это, Мориц, был чертовский случай, – это адская сцена, на которую опять выходит отец Флориан.

Реби Фола потянул ухо к Морицу и прошептал:

– Так это было на сцене!

– Да, реби Фола, – молчите, – все это было на сцене.

– Хорошо, хорошо!

Гонорат продолжал.

Глава девятая

Это я мог бы говорить только для верующих, но все равно. Прошел слух в народе, что под Злочевом в лесу на пасеке поселился человек святой жизни. Он завел пчел, давал людям лекарства и ни от кого ничего за это не брал. Бедные глупые русины прозвали его между собою «пчелиный королек». Стали к нему ходить отовсюду; он исцелял всех, у кого бы какая болезнь ни случилась. Если у кого было нехорошо на сердце от сердечных мыслей – и те тоже к нему приходили. И я тоже пошел, чтобы его видеть. До Львова я доехал и все держал пост дорогой, а дальше пошел пешком, чтобы как можно лучше себя приготовить к беседе с святым человеком. Нашел его очень легко: живет в лесу – один... старый, весь оброс бородой, в белой свитке, и даже пахнет от него прекрасно святостью, – медом и воском... А глаза – так насквозь всего человека и пронцают. Посмотрел он на меня и говорит:

– Тебе надо покой, – иди отпochни у меня в халупке, а завтра с тобой будем беседовать.

Положил меня в халупку и запер на ключ, а утром вывел и говорит:

– Теперь ты мне можешь открыться.

Я ему стал исповедываться и все, все рассказал, и что тогда делал, и что теперь делаю, и прошу:

– Отпусти мне, отче!

Он говорит:

– Для того, чтобы отпустить раба, есть в Библии правило. Я тебя могу отпустить, но только по этому правилу.

Я согласился. Он похвалил.

– Вот, – говорит, – хорошо, милый сын мой (так и назвал: *милый сын*); пойдём теперь к двери, я тебя отпущу, как должно, по закону.

И тут, господа, вдруг и совершенно неожиданно разыгралась вторая удивительная и невероятная сцена.

Реби Фола разинул рот и уронил сухарь.

– У вас худой рот, реби Фола! – крикнул Мориц.

– Нет, я слушаю, что было на сцене.

Гонорат продолжал:

– А по закону, – сказал королек: – когда надобно отпустить раба, то надобно его вот как. Подходи, брат, сюда... Стань вот здесь на пороге у притолки, прислонись к притолке... Так!.. Ещё плотнее!

Я стал и прислонился, а он, подлец, вдруг как хватит меня сзади шилом, так сквозь ухо к притолке и пришил...

– Это так и надо! – оживился Фола. – Так следовало!

– Почему же так следовало?

– По Второзаконию.

– Второзаконие! Черт бы тебя взял со всею твоею раввинскою ученостью, – закричал на него Гонорат и досказал, что пустынный, пригвоздивший его шилом к притолке, оказался не кто иной, как бывший ксендз Флориан.

Глава десятая

– Вы, может быть, ошиблись, капитан?

– Я не мог ошибиться, Мориц! Да и, наконец, ведь мы объяснились.

– Объяснились?

– Как же! Когда он ушпиллил меня шилом к притолке... ведь это было так больно, что я закричал во всю мочь и никуда не мог тронуться... А он – чтоб ему околеть – стал передо мною, снял с себя белый парик, подпер руки в бока и спрашивает:

– Узнаешь ли ты меня, наконец, противная собака в австрийском ожерелке? Ты, негодяй, пришел сюда, чтобы за мною шпионить, а я тебя сейчас и разгадал; и вот за это ты престоишь здесь приколотый к притолке до тех пор, пока издохнешь голодной смертью, а я уйду в такое место, где меня другая такая собака, как ты, не отыщет.

И с этим он достал из-под пола кису с деньгами, показал мне шиш и ушел, а меня запер.

– Вот так гемютлих! – воскликнул Мориц.

– Да! И представь себе, друг мой Мориц, что ведь я, действительно, так и стоял приколотенный целые сутки. Что это была за мука! Я тебе и сказать не могу. От боли я не мог вынуть шила. А ухо!.. Описать нель-

зя, что сделалось с моим ухом... Оно у меня пухло, как пирог на опаре, а при этом шла ужасная стрельба во всей голове и ко всему этому сесть невозможно. Я, Мориц, молился, жарко молился... и как я плакал!..

В этом месте рассказа в голосе Гонората задрожали слезы, и он торопливо вытащил из кармана платок и закрыл свое лицо.

Целестин посмотрел на него через очки и прошипел:

– Мерзавец!

Через минуту Гонорат продолжал:

– Я думал, что я непременно там и умру голодной смертью; но Бог бывает добр ко всем, Мориц! Он и надо мною смиловался, вероятно за то, что никогда не рассуждал на ученый манер, а всегда во все верил как добрый католик. На другой день пришли к домику благочестивые люди, чтобы просить у Флориана благословения. Они стали стучать. Вообрази, как я обрадовался! Но я не мог им отпереть. Я спас себя только тем, что стал петь потихоньку «Под твою милость прибегаем». И хорошо, что я мог это петь так жалостно, что благочестивые люди не могли разобрать моего голоса и подумали, что это поет сам Флориан. И Бог милосердный так сделал, что мой голос издали был совсем как Флорианов голос, и благочестивые люди подумали, что это Флориан кончается, и отбили запер-

тую дверь. О, какое это было благополучие! Они сняли меня с шила и начали меня бить палками, подозревая, что я разбойник и был с товарищами, которые убили или увели в плен Флориана. Я их упросил, чтобы меня отвели к комиссару. Комиссар отправил меня в Вену. В Вене хотели мне ухо отрезать, но, к счастью, отлично вылечили не резавши – только вот эта дырка от шила осталась.

Гонорат показал на свою бирюзовую заклепку и, вздохнув, добавил:

– И вот только с тех пор мне легче вспомнить и про Якуба, и про паныча Гершку, потому что не одни они, а и я тоже пострадал от отца Флориана.

– Только вы несколько меньше, а они больше, – заметил Мориц.

– Это правда; но знаешь, ведь тут много зависит от того, как смотреть на дело.

– Конечно, ксендз Флориан сначала сделал из вашей милости препоганого палача, а потом преогромного дурака; но, однако, как ни смотри, вы все-таки живы.

– Да, я жив... это правда.

– И едите курку с маслом.:

– Ем... иногда... А тебе завидно?

– И служите австрийским жандармом, – подсказал Целестин.

– Да, и служу австрийским жандармом... А все-таки вы мою душу не знаете и не можете судить: лучше мне или не лучше, чем Якубу и Гершке.

– Нет, лучше, лучше! – заметался реби Фола.

– Ты почему знаешь?

– По Писанию, – отвечал реби Фола, и, подняв перед собою в левой руке сухарь, он точно читал с ним под указку слова из Кагелота: «Псу живому лучше, чем льву умершему».

Мориц и Целестин расхохотались. Реби Фола не понимал в чем дело и уверял, что у Кагелота, действительно, так написано: «Псу живому лучше, чем льву умершему».

Гонорат встал, вздохнул, поглядел на свои часы и проговорил ко всем безразлично:

– Все вы – бесчувственные животные, и я еще не теряю надежды, что когда-нибудь мне придется вас повесить.

– В чей же бенефис, пан капитан, вы нас хотите повесить? – спросил Мориц.

– А это для меня безразлично, пан трактирщик, – отвечал шаловливо Гонорат и, вскинув на локоть свой карабин, он никому не кивнул головою и пошел встречать подходивший срочный поезд.

С этим поездом прибыл и тот деловой человек, которого я ожидал. Мы скоро переговорили все, что на-

до было по делу, а потом я ему рассказал и о том, что слышал в корчме, и спрашиваю его: «неужто всему этому можно верить?» Он же мне отвечает:

– А черт их разберет! Да и зачем это нужно им верить или не верить?

– Чтобы уяснить себе: коего духа эти люди?

– Ну, вот пустяки!

– Как! Дух – пустяки?

– Да, разумеется, пустяки. Где теперь духа искать! Смотрите, пожалуйста, где хотите – на всех людских лицах ничего ясного не стало видно. Все какие-то тусклые шершаки, точно волки травленные: шерсть клоками, морды скаленные, глаза спаленные, уши дерганые, хвосты терханые, гачи рваные, а бока драные – только всего и целого остается, что зубы смоленные, да первая родимая шкура не выворочена. А вы в этих-то отрепках хотите разыскивать признаки целостного духа! Травленный волк об какую землю ударится, там чем надо, тем он и скинется.

– Однако, что же хорошего, если это у вас так и в Цислейтании и в Транслейтании.

– Да везде это теперь так, где вам угодно, – не только у нас в Цислейтании и в Транслейтании, а и во Франции, и в Италии, и так далее: травленный волк везде одной породы; он об какую землю ударится – там чем ему надо, тем он и скинется.

– А к чему же это, по-вашему, сведется?

– Да сведется к такому прелюбопытному положению, что никто, наконец, не будет знать, с кем он дело имеет.

Впервые напечатано – «Книжки недели», 1888.